



Свящ. И. ФУДЕЛЬ

К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях

Разбираясь в многочисленных письмах К. Леонтьева с целью подготовить материалы для его биографии, я невольно должен был остановить свое внимание на отношениях К. Леонтьева к разным лицам, с которыми ему приходилось сходиться и сталкиваться на жизненном пути. Среди этих разнообразных, и близких, и далеких Леонтьеву, лиц одно из первых мест занимал, бесспорно, Владимир Сергеевич Соловьев. Их отношения между собою носят все черты своеобразной оригинальности, присущей им обоим, причем роль Вл. Соловьева в некоторых умственных и сердечных переживаниях Леонтьева настолько значительна, что биографу пройти мимо этих отношений никак нельзя.

И вот теперь, когда поминки по Леонтьеву устроило Общество имени Соловьева, мне и показалось своевременным рассказать, что я знаю о взаимных личных отношениях этих двух замечательных русских людей.

В конце января 1878 г. К. Леонтьев приехал в Петербург по своим личным делам. 11 февраля он пишет отсюда своей племяннице, Марье Владимировне: «Ты обязана особенному случаю, что получишь, может быть, очень длинное письмо. Тот 24-летний богослов и философ, которого ты читаешь и даже понимаешь (он брат моему почитателю и критику Всеволоду Соловьеву¹), пригласил меня сегодня приехать к нему в 9-м часу вечера “потолковать по душе”. Я, отстоявши почти всю всюнощную в Исаакиевском соборе и от души помолившись, поехал и прождал его до 1/2 10-го. Вообрази, должно быть, он забыл. Меня это не обидело; он первый ко мне пришел и вообще обнаружил

много искренности и желание со мной подружиться; я уверен, судя по его поведению вообще, что он будет очень смущен, когда найдет мою записку, ибо, кроме рассеянности, приписать этого нечему в таком порядочном человеке...»²

Здесь, в этом отрывке, в немногих словах уже намечена вся картина будущих отношений только что познакомившихся между собою двух особенных людей конца прошлого столетия. И как все здесь характерно для обоих действующих лиц! И то, что молодой философ первый идет знакомиться с Леонтьевым, и его обычная даже в те молодые годы рассеянность, и то, что Леонтьев нисколько не обиделся на это, мирно и светло настроенный после горячей молитвы в Исаакиевском.

Я назвал этих людей «особенными». Иначе я не знаю, как назвать их, когда издали смотрю на них обоих вместе вовсе не с целью оценивать их или сравнивать между собою. Оба совершенно различные по натуре, характеру, по своему душевному складу, вкусам, воспитанию, по взглядам, подчас совершенно противоположным, по своей литературной судьбе наконец, они имели между собой нечто *общее*, сходное, лежавшее глубоко за видимыми чертами несходства и различия. Это было то, что оба они были «одинокие мыслители», вернее сказать, одинокие поэты-мечтатели, как рыцари, отдавшие свою жизнь одной любимой женщине — мечте. Почуяли ли они инстинктивно друг в друге эту особенность, эту свою роковую одинокость, или сблизили их друг с другом долгие беседы за полночь, но сближение это скоро перешло в самые теплые отношения искренней дружбы, бережно хранившиеся обоими, несмотря на размолвки, до конца их жизни. Это была действительно дружба, корни которой не в рыхлой почве умственного единомыслия людей, а в твердой почве их взаимного *сердечного* влечения друг к другу, несмотря на принципиальное разномыслие.

К. Леонтьев находился все время под обаянием личности Вл. Соловьева. Этого он нисколько не скрывал, а по свойственной ему честной прямоте публично высказывал и, как влюбленный, смотрел на предмет своей страсти слишком большими глазами, преувеличивая его достоинства и стараясь найти оправдание его недостаткам. Под личностью я разумею, конечно, не только душевный склад лица, но и его умственное своеобразие. И в этом смысле из всех современников К. Леонтьева, конечно, один только Соловьев мог удовлетворять его прихотливому и требовательному вкусу. В начале своей литературной полемики с Соловьевым, в 88 году, Леонтьев публично заявлял: «Я люблю ваши идеи и чувства, уму вашему я готов поклоняться со всею искренностью

моей независтливой природы...» * В своеобразии литературного таланта Соловьева, а еще более в оригинальности его богословских идей Леонтьев видел как бы зарю осуществления своей мечты о своеобразии русской культуры. Как характерно в этом отношении то место в уже цитированной нами статье Леонтьева 88 г., где он говорит о церковных взглядах Соловьева: «Широкое основание, говорит он, духовно-церковной пирамиды *общее*; вершина его должна быть *в Риме*, по мнению Соловьева. Мы можем не соглашаться с этим последним выводом... Но то, что он говорит об этих *основаниях общих*, привлекательно и возвышенно до гениальности; отвергнуть этого мы не имеем права. Само своеволие и сама оригинальность его первоначальных объяснений подкупает в его пользу даже и зрелый ум, даже и богобоязненное сердце. Его своеобразное освещение всем известных фактов священной и церковной истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами его тонкое, философское остроумие — все это невыразимо освежает наш ум, привыкший к несколько тяжелым и сухим приемам нашей духовной литературы, и открывает перед нами новые и светлые перспективы. Читая его, начинаешь снова надеяться, что у Православной Церкви есть не одно только “небесное будущее” (ибо только *в этом смысле* мы обязаны безусловно верить, что “врата адовы не одолеют ее”), но и *земное*; что есть надежда на ее *дальнейшее развитие* на правильных и древних св<ято>отеческих основаниях. Возможность появления у нас этого русского самобытного мыслителя дает верующему право мечтать и о других более правильных возможностях в области церковно-мистического мышления...» **

Но наиболее характерные в этом отношении отзывы Леонтьева встречаются в переписке его со мной. Это было как раз в те последние 4 года жизни Леонтьева (88—91), когда мы были знакомы и когда почти весь литературно-общественный интерес сосредоточивался на буре, поднятой Соловьевым в его полемике со славянофильством и в его католических симпатиях. Сгоряча я высказал Константину Николаевичу все, что накипело в душе против Соловьева, а он сам, сильно расстроенный полемическими приемами Соловьева, брал его под свою защиту, особенно в близких сердцу Леонтьева вопросах о догматическом развитии Церкви и о соединении церквей. Здесь он не мог удержаться от преувеличенных надежд, очень трогательно выраженных.

* Соч. К. Леонтьева, VII, с. 290.

** Там же, с. 288.

«Я еще думаю, — писал он мне, — что такой оригинальный (для русских) взгляд, как у Влад. Соловьева, и при тех ресурсах, которыми его одарила судьба, не может пройти бесследно. Я *уверен* даже, что не пройдет. “Богобоязненность” и послушание своему духовенству, вы знаете, у нас слабы; а жажда нового, и в особенности жажда *ясного* и *осязательного*, у нас в обществе неутолима. Разлюбивши *простой*, утилитарный прогресс, разочаровавшись в нем, грядущие поколения русских людей не накинута ли толпами на учение Соловьева не только благодаря его таланту (или, вернее, *гению*), но и благодаря тому, что самая мысль “идти под Папу” ясна, практична, осуществима и в то же время очень идеальна и очень крупна...»

Но в том же призыве Вл. Соловьева «идти под Папу» было еще нечто совершенно неприемлемое для Леонтьева: это — вера в прогресс и во всеобщее благоденствие. Последнее обстоятельство ставило Леонтьева в тупик, из которого он необыкновенно остроумно вышел. «Не знаю, право, — писал он, — на счет *земного благоденствия после соединения церковью под Папой*, как решить: хитрит ли Соловьев или верует сам в эту химеру? Иезуитизм ли это (весьма ценный и *целесообразный в наше дурацкое время*) или та “духовная прелесть”, о которой я упоминал. “Чужая душа — потемки”. Из уважения к его уму — желал бы думать, что он весьма ловко и даже как бы вдохновенно иезуитствует; но *не верит*, ибо это глупо. Из желания же верить его *сердечной совестливости* (так как я его *крепко* люблю) — хотел бы предпочесть *искреннее и глупое заблуждение...*»³

Но серьезно поверить в «глупое заблуждение» Соловьева К. Леонтьев при своем преклонении перед его гением не мог. «Что он гений, — писал он мне гораздо раньше по другому поводу, — это несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его “обаяния” (тем более, что мы сердечно друг друга любим); но все-таки надо отбиваться; надо признавать всякую гениальность, но не всякой подчиняться...»⁴

И вот он придумывает оправдание иезуитизму Соловьева. «Допустим, что это иезуитизм в том смысле, что он (т. е. Соловьев) говорит сам себе: “Нынешнему народу скажи просто: Церковь, Папа, спасенье души — они отворотятся; а скажи, что при посредстве Папы и Церкви на земле воцарится на целое 1000-летие та любовь, та гармония и то благоденствие, о котором вы вот уже более 100 лет все слышите от прогрессистов, а без Церкви и Папы это невозможно, ибо только через них действует Бог, Которого признать необходимо и Которого *очень многие* теперь ищут и жаждут... Скажи так (мечтательно и ложно), они примут во

имя этой лжи и этой мечты и то, что в моем учении *возможно, правильно, реально, осуществимо*” и т. д. Допустим, что он так думает; разве с практической стороны он не прав? Допустите еще, что лет через 10, 20 его учение приобретет множество молодых, искренних и энергических прозелитов, подобно нигилизму (тоже ясному) 60-х и 70-х годов. Из общества идеи просачиваются понемногу и *в духовные училища и ко Двору...* Вообразите при этом все большее и большее сближение с католическими славянами; вообразите, что осуществился тот панславизм, которого я так боюсь... Вообразите в то же время и на Западе возврат к религии после ужасов социалистической анархии. И если таким образом через 20–25 лет те семена, которые Соловьев сеет теперь с такой борьбой, с такой, допустим, хитростью и даже несимпатичной злобой, начнут приносить обильную жатву (*реальными и здоровыми* сторонами учения), то разве не простят ему все его извороты или его мечтательные бредни?... Разве не простится ему и ложь? Простится, мой друг! Да еще скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном”... на это ответят: “Тем лучше. Это трогательно”... »⁵

Да, но пока что трогательно было видеть, как в этом случае Леонтьеву самому хотелось верить, что Соловьев не хитрит, что он искренне *заблуждается*. В это еще можно было верить, но вот чего нельзя было скрыть и чего нельзя было оправдывать даже самыми остроумными предположениями, так это явно некрасивые полемические приемы, какие позволял себе Соловьев в разгар страстной борьбы. На мои жалобы по этому поводу К. Леонтьев отвечал мне: «При всем моем личном пристрастии к Влад<имиру> Сергеевичу и при всем моем даже почтительном изумлении, в которое повергают меня некоторые из его творений, я сам ужасно недоволен им за последние 3 года. То есть с тех пор как он вдался в эту ожесточенную и часто действительно недобросовестную полемику против славянофильства... »⁶

Больно было переживать это К. Леонтьеву, и вот, через два дня после того, как были написаны им мне предыдущие строки, пришлось ему отвечать Ник. Ник. Страхову на его запрос, какого мнения Леонтьев о его споре с Соловьевым. Н. Страхова Леонтьев не любил за его личную фальшивость, собирался порвать с ним всякие сношения и письма своего к нему так и не послал, а переслал его мне. Но вот любопытные строки из этого письма: «Сведения мои об этом споре остановились на его весьма сквер-

ной по тону статье “О грехах и болезнях” и на вашем ему ответе, в высшей степени достойном и благородном. Его эта статья до того мне не понравилась и по направлению и по тону, что я даже написал ему письмо, наполненное самыми суровыми укорами *дружбы* (я его *очень* люблю лично, сердцем; у меня к нему просто физиологическое влечение); я писал ему, что мне больно не за Н. Страхова, которым я лично не имею ни малейшего основания быть довольным, а напротив того; но мне жалко того чистого образа молодого мудреца, который я привык чтить... Почти в то же время я сделал ему выговор за Яроша, на которого он тоже напал не совсем добросовестно и слишком резко... Из этого вы тоже можете видеть, что я, негодуя на недобросовестность и злость соловьевской полемики, имел гораздо больше в виду его самого, т. е. его нравственную красоту, чем защиту его противника...»⁷

До сих пор, мы видим, К. Леонтьев не разрывал с Вл. Соловьевым лично, несмотря на то, что уже несколько лет продолжалась борьба Соловьева с тем направлением мысли, к которому всеми своими корнями принадлежал К. Леонтьев. Но он прощал Соловьеву все его беспощадные нападки на славянофильство и на Данилевского с его теорией культурных типов, прощал ему его союз с либералами и его борьбу с национализмом, прощал все ради той мечты о призвании России через соединение церковей, которую Соловьев с таким искусством и силою облекал в плоть и кровь в своих вдохновенных «творениях», как выражался Леонтьев, о теократии. Одного не мог бы простить Леонтьев тому молодому мудрецу, чистый образ которого он так лелеял и оберегал, это — его преклонения перед ненавистным Леонтьеву демократическим прогрессом, соединенного с унижением или злохулением христианского аскетизма. Судьбе угодно было нанести Леонтьеву в последние дни его жизни и этот жестокий удар.

19 октября 91 г. Вл. Соловьев прочитал в Психологическом обществе свой реферат «Об упадке средневекового миросозерцания»⁸. Теперь в печати этот реферат производит очень странное впечатление: что-то недоговоренное, очень слабое по аргументации, непонятно, против чего все это направлено. Тогда реферат был прочитан, быть может, с теми пояснениями и дополнениями, которые делали его для всех совершенно ясным, а для многих, кроме того, соблазнительным. Присутствовавшие на реферате вынесли впечатление, что Соловьев издевается над историческим христианством и прославляет прогрессивно-общественную деятельность неверующих, через которых якобы действует дух Христов.

Для чего понадобилось Соловьеву делать этот выпад — непонятно; ни в какой связи ни с предыдущими трудами Соловьева, ни тем более с последующими он явно не находится. Но соблазн был велик, и этот соблазн под влиянием тревоги, поднятой охранительной печатью, превратился в общественный скандал. Очень слабая литературная статья превратилась в общественное событие и в камень преткновения для многих, в том числе и для Леонтьева.

Он в это время жил уже в Сергиевом Посаде, переехавши сюда из Оптиной, чтобы быть ближе к врачебной помощи. О реферате Соловьева он узнал из «Московских ведомостей» и тотчас же написал Александрову: «Нельзя ли как-нибудь достать для меня подлинник ужасного реферата Вл. Серг. Соловьева? Читаю в “Моск<овских> ведом<остях>” и глазам своим все не хочу верить! Неужели? Неужели? Так все прямо и дерзко в России 90-х годов?...» * Через день он еще пишет ему же: «Эта история меня сильно поразила и огорчила! Все мы (и я прежде всех!) бессильны, и нет у православия истинно хороших защитников. Юрий Николаевич (спаси его, Господи!) бьется почти что один. Но и его возражения недостаточны... Неужели же нет никаких надежд на долгое и глубокое возрождение Истины и Веры в несчастной (и подлой!) России нашей? Не знаю, что и подумать, и *чрезвычайно скорблю!* Возражать сам по многим, и важным, причинам не могу. Перетерлись, видно, “струны” мои от долготерпения и без *своевременной* поддержки... Хочу поднять крылья и *не могу.* Дух отошел. Но с самим Соловьевым я после этого ничего и общего не хочу иметь. Жду только прочесть реферат, чтобы написать это ему...» **⁹

Под влиянием разгоравшейся в «Московских ведомостях» полемики против Соловьева разгоралось против него и раздражение у Леонтьева. Это было то, что на монашеском языке называется *искушением*. Потому что в эти именно дни началась у Леонтьева предсмертная болезнь, которая через 3 недели свела его в могилу, и эти последние дни были решительно отравлены раздражением, дошедшим до озлобления, против человека, которого он так искренно любил, уважал и так высоко ставил. Под влиянием этого озлобления Леонтьев в своих письмах к тому же Александрову проектирует, что надо сделать, чтобы обезвредить пропаганду Соловьева; хочет, чтобы по напечатании реферата духовенство наше возвысило свой голос, предлагает упрощить

* «Письма к Анатолию Александрову», с. 122.

** Там же, с. 123.

митрополита Московского, чтобы он сам сказал проповедь против смешения христианства с демократическим прогрессом или обнародовал какое-нибудь краткое послание к своей пастве; предлагает употребить все усилия, чтобы добиться высылки Соловьева за границу; раскрывает подробно, какие добрые последствия будет это иметь для самого Соловьева, для его отрезвления, и т. д.

Все это бурное и страстное негодование выливалось только в письмах к единомышленникам; самому Соловьеву Леонтьев не писал ни строчки, все ожидая появления в печати его реферата, «чтобы написать ему письмо, яко мытарю и язычнику». Но так и не дождался. 12 ноября его не стало. Смерть не дала ему порвать *личные* отношения со своим другом, и их душевное общение в этом мире не порвалось и не омрачилось ни жестким словом, ни гневным укором или неосновательным обвинением.

Через два месяца после этого в книжке «Русского обозрения» появилась статья Вл. Соловьева «Памяти К. Н. Леонтьева». Написанная с необычной для Соловьева теплотой, эта небольшая статья так продумана с начала до конца и так справедлива по существу выраженного взгляда на умственную деятельность Леонтьева, что до сих пор она, по моему мнению, является лучшею из всего, что написано о Леонтьеве. Но главная сила статьи даже не в этом, а в глубоком понимании автором самой личности Леонтьева, в проникновении в его душу. Указав на коренной недостаток в проповеди Леонтьева, Соловьев считает долгом справедливости упомянуть и о том, что у него было существенно хорошего.

«Хорошо, — говорит он, — было, во-первых, то, что свои крайне охранительные и благочестивые взгляды Леонтьев стал исповедовать еще в конце шестидесятых годов, т. е. тогда, когда, кроме недоумения, насмешек и поношений, они ничего ему дать не могли. Все, что он проповедовал, он самостоятельно продумал, пережил мыслью и чувством. Каковы бы то ни были его идеи сами по себе, это, во всяком случае, были *его идеи*, а не чужие слова, повторяемые по расчету или по стадному внушению. А во-вторых, хорошо было в Леонтьеве то, что односторонность, исключительность и фанатизм его взглядов не выходили из пределов теории и не имели влияния ни на его жизненные отношения, ни даже на его литературные суждения. Этот проповедник силы и сильных мер менее всего был склонен обижать и оскорблять кого-нибудь в частной жизни и в литературе. Он как писатель никогда не кривил душой из-за личного самолюбия или партийного интереса и всегда в полной мере отдавал справедливость и личным и идейным врагам своим.

Отдадим же и мы ему полную справедливость. При всех своих недостатках и заблуждениях это был замечательно самостоятельный и своеобразный мыслитель, писатель редкого таланта, глубоко преданный умственным интересам, сердечно религиозный, а главное, добрый человек...»

Здесь, в этих немногих словах, дан нам портрет *подлинного* Леонтьева. С гениальным мастерством воспроизведена перед нами *его душа*. Сделать этого не могли ни единомышленники и друзья, ни литературные враги К. Леонтьева. Это сделать мог только человек, сердечно полюбивший его *как человека*, независимо от его идей или проповеди. Таким и был Вл. Соловьев. На сердечную привязанность Леонтьева он отвечал ему тем же и сохранил эту привязанность до конца своей жизни. Трогательный и редкий пример сердечного влечения друг к другу людей не только не единомысленных, а совершенно несходных даже до противоположности.

В конце лета 1890 г. Леонтьев выехал на месяц из Оптиной в Москву. Надо было посоветоваться с врачами и освежить свои старые знакомства и связи. Я у него в это время гостил и провожал до самой Москвы. По дороге мы много говорили обо всем, но более всего о Соловьеве. Это был как раз разгар соловьевской полемики против славянофильства и Данилевского. До этой поездки Леонтьев прожил в Оптиной безвыездно 3 года и с Соловьевым не виделся; в Москве же надеялся увидеться. Я, правду говоря, боялся этой встречи, хорошо зная прямоту и несдержанность Леонтьева. Естественно, что в первом же своем письме к нему, по возвращении его в Оптину, я высказал это свое опасение в прямом вопросе. Вот что он мне ответил: «Вчера получил письмо... И не медля отвечаю на тревожные вопросы: I. Не поссорился ли я с Соловьевым? Ответ: Не только не поссорились, но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: “Ах, как я рад, что Вас вижу!” Обещал приехать ко мне зимою. Да не надеюсь; до глупости увлекается своими писаниями. Поседел! Безумие!..»¹⁰

Хорошо известно теперь, какую печальную роль в литературной судьбе Леонтьева играло то обстоятельство, что его в печати при жизни замалчивали и враги его, и друзья. Об этом можно было бы много порассказать; но кратко, в двух словах, это можно выразить так: Леонтьев всю жизнь искал, просил, *жаждал* серьезной, основательной критики своих идей. Он сам хотел *себя проверить* и не мог. Этой основательной критики он *не дождался*, и это было одним из самых мучительных переживаний его жизни; и переписка Леонтьева полна жалобами на эту горькую несправедливость судьбы.

Конечно, наиболее серьезную, справедливую критическую оценку своих взглядов Леонтьев мог ждать от Вл. Соловьева. Но он молчал, как и все... По другим только причинам. Вот как он сам объяснял эти причины. В том же письме ко мне, в котором Леонтьев рассказывал о своей встрече с Соловьевым в Москве, он далее продолжает: «Владимир Сергеевич сознался мне, что, хотя он находит меня “умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского”, он потому до сих пор не собрался писать обо мне особой статьи, что теоретически он со мною все-таки во многом не согласен, а практического побуждения нет, потому что мои мысли не в ходу, как мысли старого славянофильства... “Думал сделать это по чувству справедливости и начал даже («хотите, привезу Вам начатые листы»), да побоялся оскорбить резкостью; побоялся, потому что сами знаете, как я Вас люблю. А вот дайте мне повод сами, и я найду возможность и вообще о Вас поговорить”».

Это было в конце лета 1890 года. А в апреле следующего года Леонтьев уже писал мне: «Соловьев готовит к маю, июню, статью “Идейный консерватизм” (какой же еще бывает?), в которой речь будет больше всего обо мне...» В мае Леонтьев сообщал мне уже подробнее о том же: «Вл. Серг. Соловьев пишет мне, что скоро не то в “Вестнике Европы”, не то в “Русской мысли” появится статья обо мне; разумеется, главным образом против; но, зная его приватные мысли и личные ко мне чувства, не сомневаюсь, что будут и одобрения...» В это же лето Леонтьев усиленно звал меня навестить его в Оптиной и с радостью сообщал: «Влад. Соловьев также собирается на целый месяц не в Оптину собственно, а к Оболенским (8 верст). На днях будет. Прислал Оболенскому письмо, в котором просит его передать мне, что статья его обо мне готова, но не знает еще, где будет: в “Новостях” или в “Вестнике Европы”. Любопытно, как он примирит личное, доброе ко мне чувство с ненавистью к моим “свирепым” (с его точки) принципам...»¹¹

Обещанной статьи Леонтьев все-таки не дождался.

Таковы были взаимные *личные* отношения этих двух «особенных» людей. Естественно после этого задать вопрос: каково же было взаимное влияние этих людей друг на друга в области идей, надежд и разочарований? Нельзя же думать, чтобы этого влияния не было, раз они так ценили друг друга и уважали.

Влияние Вл. Соловьева на К. Леонтьева в крушении его самых задушевных патриотических надежд не подлежит никакому сомнению: это печатно и в письмах высказывал сам Леонтьев. Гораздо труднее указать прямо на какое-либо влияние этого

последнего на Соловьева. Причиной тому — прежде всего коренное различие между ними в их психическом строе.

К. Леонтьев имел обыкновение высказываться в разговоре или печати *больше* и дальше того, что он на самом деле думал. Это тоже сыграло свою печальную роль в судьбе Леонтьева. Его страсть к парадоксам делала из него какое-то пугало для людей, не знавших его; а его *преувеличения* в области душевных излияний до сих пор окружают его темным ореолом какой-то исключительной безнравственности.

Совершенно обратное явление представляет Соловьев. Он никогда не высказывал печатно всего того, что думал или говорил в кругу друзей. На этом и основаны были предположения Леонтьева, что Соловьев в своих посулах будущего земного благоденствия только «хитрит» для достижения более реальной цели подчинения всех папе. Он с горечью писал мне о Соловьеве, что «печатные *политические* воззрения его просто поражают меня, не знаю только чем: ребячеством своим или наглым притворством, ибо не далее как в последнее свидание со мною он *говорил* мне: “Если для соединения церковей необходимо, чтобы Россия *завоевала* постепенно всю Европу и Азию — я ничего против этого не имею”. Отчего же *не печатать* этого? А все противоположное?..»¹²

Скрытый империализм Соловьева очень ясно раскрывается кн. Е. Трубецким в его известном труде¹³. Не прав ли был Леонтьев и в том случае, когда он иногда приписывал себе влияние на те или другие взгляды Соловьева?

В том же цитированном уже мною письме Леонтьев рассказывает о факте, бывшем, по-видимому, еще в 82 году. «Влад. Соловьев сказал мне в Москве: “Я хочу напечатать в «Руси» Аксакова, что нужно большое бесстрашие, чтобы в наше время говорить о страхе религиозном, а не об одной любви”. Сказал... и *не* напечатал этого, а напечатал совершенно неосновательные возражения в защиту Достоевского, и не только его, но и Льва Толстого; а через полгода или год отступился от последнего и эту часть возражений в отдельном издании выбросил, понявши довольно давно, что я прав...»¹⁴

Но это, конечно, не важно. Тот или другой факт еще не много доказывает. Более важное значение имеет общее мирозерцание писателя в тот или иной период.

Мы видели, с каким раздражением против Соловьева умер Леонтьев. В нападках на средневековое мирозерцание он увидел окончательное торжество во взглядах Соловьева тех начал безбожного демократического прогресса, о коих он не мог гово-

ритель без негодования и ненависти. Мог ли он думать, что в этом случае он решительно ошибся. И если бы он прожил еще хотя бы 8 лет, с какой бы радостью удостоверился, что ошибся, с каким бы восторгом воскликнул «Осанна» своему старому другу, когда появились его «Три разговора» и «Повесть об Антихристе»!..¹⁵

В 90-х годах совершенно ясно определился перелом во взглядах Вл. Соловьева. Как и Леонтьев, он пережил к концу своей жизни полное крушение своих заветных чаяний и упований. В эти годы, по словам его биографа и комментатора, центр тяжести для него заключался в полном отрешении от всех земных утопий, и прежде всего от утопии прогресса. «Перед ним во весь рост встал образ смерти, предстоящей в недалеком будущем всему человечеству. Земной путь последнего представляется философу уже оконченным» *.

«Историческая драма сыграна, и остался один лишь эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их в существе дела заранее известно» **. Это мы читаем в последней, посмертной уже статье Вл. Соловьева¹⁶. Это последнее слово его, «крик его сердца», как он сам выразился. Здесь подвергается уничтожающей критике ходячая теория прогресса в смысле возрастания всеобщего благополучия. «Со стороны идеала, — говорит он, — это есть пошлость или надоедливая сказка “про белого бычка”, а со стороны предполагаемых исторических факторов — это бессмыслица, прямая невозможность. Говорите усталому, разочарованному и разбитому параличом старику, что ему еще предстоит бесконечный прогресс его теперешней жизни и земного благополучия... “Уж какое тут, батюшка, благополучие, какая жизнь. Лишь бы прочее время живота непостыдно да без лишних страданий дотянуть до «близкого конца»”» ***.

Если бы не подпись Вл. Соловьева под этими словами, можно было бы спорить, что это написал К. Леонтьев, только не в 1900 году, а приблизительно лет за 25 до этого. Вот и разгадка недоумения Леонтьева по поводу веры Соловьева в земное благоденствие после соединения церквей, притворство ли это было или искреннее заблуждение. Как пелена с глаз, отпало заблуждение, а с нею отпало то главное и существенное, что дотоле разделяло Соловьева и Леонтьева. Объединяла же их глубокая личная религиозность. И вот «леонтьевское» настроение глубо-

* *Кн. Е. Трубецкой*. Мирозозерцание Вл. Соловьева. II, с. 299.

** «Собрание сочинений Вл. С. Соловьева», VII, с. 586.

*** Там же, с. 585–586.

кого пессимизма к земным вещам стало вместе и соловьевским в последние годы его жизни.

Я не хочу сказать, что это есть результат влияния Леонтьева. Такие коренные перемены и переломы в мировоззрении писателя никогда не совершаются под влиянием кого-либо одного. Они — результат пережитого, передуманного за многие годы, выстраданного под противодействием и ударами самой жизни. Но, конечно, в общей сумме воздействующих влияний на крушение веры Соловьева в земной прогресс свою долю имел и Леонтьев. Точно так же, как крушение веры Леонтьева в культурное призвание России подготавливалось медленно и постепенно. А последний, решительный удар в этом направлении последовал со стороны Вл. Соловьева.

Я не имею возможности остановиться на этом важном моменте жизни Леонтьева, на этой самой трагической ее странице. Для этого надо было бы дать очерк культурных воззрений Леонтьева и его взгляда на призвание России и надежд, связанных с этим призванием. Это настолько серьезно и важно, что кратко и вскользь коснуться этого предмета нельзя; об этом стоит поговорить отдельно, а задача моя в настоящую минуту более узка. Поэтому я перейду прямо к последнему моменту *культурофильства* Леонтьева, потому что *этот* момент непосредственно связан с именем Вл. Соловьева.

В 88 году появилась статья Вл. Соловьева под заглавием «Россия и Европа»¹⁷. Я хорошо помню то впечатление, какое произвела она среди нас, среди молодежи 80-х годов, так или иначе разделявшей славянофильские чаяния. Это было впечатление бомбы, разорвавшейся в совершенно мирной обстановке людей, убаюканных националистической политикой и видевших уже сладкие сны будущего величия родины, всемирного призвания России, беспредельного культурного творчества и т. д. Пробуждение было тяжелое. Удар Соловьева был направлен против Н. Данилевского с его теорией культурно-исторических типов и, главное, против его утверждения, что русско-славянский мир призван явить новую, четырехосновную культуру. Впечатление от этого удара было у нас удручающее, потому что трудно было логически оспаривать аргументацию Соловьева, и рассудок *подчинялся* холодным выводам этой аргументации, но *чувство*, но *сердце* не мирилось с этим и протестовало всеми своими силами против этих выводов.

Такое впечатление было, по-видимому, и у Леонтьева. В самобытность славянского мира он и раньше не верил. Возможность же создания *русской* культуры всегда была у него под знаком

вопроса. Поход Вл. Соловьева против неосновательных славянофильских надежд подрывал последние корни веры в русское творчество, и в результате Леонтьев должен был против своей воли и чувства согласиться с Соловьевым, что призвание России не культурное, а исключительно религиозное. Но пусть он сам нам об этом расскажет.

В одном из своих первых писем ко мне Леонтьев дает характеристику своего умственного развития и того влияния, какое оказал на него Вл. Соловьев. «Всякий человек, как бы он ни был самобытен и способен, должен (особенно в начале жизни) подчиняться разным влияниям. И я приблизительно до 30–35 лет <подчинялся> сперва, с одной стороны, Ж. Санд и Белинскому, с другой — медицинскому материализму; потом отчасти — Герцену, отчасти — Хомякову и некоторым иностранцам (Дж. Ст. Миллю, напр<имер>). К 35 годам у меня уже выработалась и своя ясная система мировоззрения общего, и картина патриотических надежд. С тех пор *глубокого*, широкого влияния на меня уже никто не имел. Книгу Данилевского (в 69 году), когда мне было уже 38 лет, я *приветствовал* только как хорошее оправдание моих собственных (не выраженных еще в печати) мыслей. На Каткова и Ивана Аксакова я уже стал тогда смотреть только как на временно полезные орудия для *нашего с Данилевским идеала*. Они оба не удовлетворяли меня, но оба были мне нужны как прекрасные “суррогаты”. И Данилевского я скоро (в 70-х годах) по-своему перерос (я понял, напр<имер>, что он во многом еще бессознательно *либерален*), перерос я, конечно, в моих собственных глазах, во внутреннем процессе моей мысли; перерос ли я его в печатном выражении их — об этом не берусь судить, разумеется. Так было до 80-х годов, до 50-летнего возраста. И вот с 82—84 года встретился человек молодой, которому я впервые с 30 лет уступил (не из практических личных соображений), а в том смысле, что *безусловное почитание нашего с Данилевским идеала* впервые у меня внутренне поколебалось»¹⁸.

Через год Леонтьев эту последнюю мысль пояснил более подробно в письме к своему другу К. Губастову: «Оригинальную славянскую культуру, — писал он ему о Соловьеве, — он считает и невозможной, и даже вредной, как *помеху* соединения Церквей. *Сочувствовать*, Вы понимаете, я этому не могу; но, сознаюсь вам, что Соловьев единственный и первый человек (или писатель, что ли), который *с тех пор, как я созрел, поколебал меня и насильно заставил думать в новом направлении...* Поколебал не личную и сердечную веру мою в *духовную истину*

*Восточной Церкви, необходимую для спасения моей души за гробом... Он поколебал, признаюсь, в самые последние 2–3 года мою культурную веру в Россию, и я стал за ним с досадой, но невольно думать, что, пожалуй, призвание-то России чисто религиозное... и только!»**

Внутреннее согласие Леонтьева с отрицательными взглядами Соловьева на русскую культуру выразилось очень характерно в одном факте, описанном им самим в письме к Н. Страхову, который спрашивал его мнение о своей полемике с Соловьевым: «Ни тон, ни способы полемики мне не по сердцу; и он не раз это слышал от меня; что касается до содержания этой полемики, содержания, которое все можно выразить кратко в его же фразе: “Русская цивилизация есть цивилизация европейская”, то она — эта фраза — подействовала на меня так тяжело и так в первую минуту рассердила меня, что я (стыдно сказать) *разорвал фотографию его*, которую он мне только что выслал. (И это я сообщил ему в Москве, а он смеялся.) Мне стало больно, потому что я почувствовал, до чего это близко к правде! Я сам, как уже сознавался, не раз колебался и думал, что все наши *идиотропические* вождедения — мираж (*отражение прошедшего*), и его статьи подействовали на меня в высшей степени неприятно, потому что ему наш европеизм нравится, и очень глубоко, потому что, и ненавидя этот идеал, можешь быть доведен очевидностью до того, что примешь его как неизбежное зло...»¹⁹

«Мне стало больно, потому что я почувствовал, до чего это близко к правде...» В этих словах выражено все, что переживал Леонтьев в последние годы своей жизни. Не в этих ли переживаниях глубокого разочарования и решительного крушения всех своих мечтаний о России, о *новой культуре*, о новом слове миру лежит главный узел драмы жизни Леонтьева?.. И как *в этом* его судьба сходна с судьбою Вл. Соловьева! Оба всю жизнь *мечтали*, и оба всю жизнь боролись всеми доступными им средствами за осуществление своей мечты, за приближение идеала к земной действительности. Оба к концу жизни глубоко *разочаровались* не в своем идеале, а в *возможности* его достижения, его реализации *здесь*, и не только теперь, а вообще когда бы то ни было... Я не говорю о содержании этих упований и устремлений, об их относительной ценности, я говорю только о субъективной боли сердечной, которую пережить суждено было обоим мечтателям в их разочаровании.

Оба были утописты, искавшие только точку опоры, чтобы своим рычагом повернуть ход мировой истории. И сколько

* Русское обозрение. 1897. V. С. 406.

действительной красоты в этой трагической борьбе одиноких мыслителей, благородных мечтателей, утопистов, фантазеров — все равно как ни назовите их, — в их отчаянной борьбе с несокрушимой броней медленно движущейся колесницы Истории...

И в этом и во многом другом Леонтьев и Соловьев имели очень много сходного между собою, имели очень много точек соприкосновения. Оба выросли из *одной* почвы, имели общие корни в нашем славянофильстве. Пути их были совершенно различны до противоположности, но кончили оба одним и тем же: сознанием, что всемирная история уже кончилась и что единственно, что важно теперь каждому из нас, — это «чаще быть ближе к Господу, если возможно, всегда быть с Ним»²⁰, как сказал незадолго до своей смерти Соловьев, или «прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати», как неоднократно повторял К. Леонтьев²¹. Оба они в своих взглядах были совершенно самобытны, независимы, внепартийны, но в *средствах* выражения этих взглядов были *связаны* один с либеральными, другой с консервативными органами печати совершенно *случайно* и неестественно. Оба обладали даром художественного прозрения, доходившего до пророческого ясновидения: и сколько предвидений этих мыслителей уже исполнилось! Особенно это надо сказать о Леонтьеве. Наконец, оба были лично религиозными людьми, «мистиками», как иногда иронически говорят люди противного склада мышления.

Но при этих сходствах и общих точках соприкосновения как различна была их литературная судьба! Теперь не время говорить о жалкой до ужаса судьбе Леонтьева, не время раскрывать причины этого. Но нельзя умолчать, что только *теперь*, через 25 лет после смерти этого бесспорно гениального человека, открывается и проявляется нашему взору *подлинный* К. Леонтьев, каким он был на самом деле, со всеми своими достоинствами и недостатками. И по мере этого проявления растет в обществе интерес к его личности и его идеям. А когда он жил, он жил в жутком одиночестве. Его немногие читали, очень немногие слышали о нем, и совсем немногие знали его подлинным, каким он действительно *был*, а не казался. И те немногие, кто его таким знал, *понимали* его и *любили*. К числу этих немногих принадлежал и Владимир Сергеевич Соловьев.

